

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ПОРТРЕТ, КОТОРЫЙ СТАРЕЕТ



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1884

Надежда Чародейская

Портрет, который стареет

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Портрет, который стареет / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, зима 1884 года. Фотограф Вересов получает от коллеги Багрова две карточки купца Шустова, снятые с одного негатива: на одной покойный моложав и доволен жизнью, на другой — глубокий старик. Вересов, который не верит ни в чудеса, ни в проклятия, сразу видит: старость купцу нарисовали. Карандашом, на стекле, умелой рукой. А когда ретушёра, делавшего эту работу, находят отравленным в его собственном подвале, курьёз оборачивается убийством. За «стареющим портретом» стоят не духи, а живые люди: скорбная вдова, услужливый управляющий и доктор, лечивший покойного «от сердца». И все трое очень не хотят, чтобы кто-то увидел, каким купец был на самом деле. Вересову предстоит снять их — в прямом смысле: поймать на свет, как ловят изображение в тёмной комнате. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижа о том, как стареет на портрете не человек, а чужая жадность, — и о фотографе, который возвращает людям их настоящие лица.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Карточка с чужой старостью	8
Глава вторая. Штрихи на негативе	13
Глава третья. Ближний круг	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Надежда Чародейская

Портрет, который стареет

Пролог

Началось это всё, как начинаются самые скверные истории, — с именин и с портрета, который повесили на стену.

В феврале восемьдесят третьего года купец первой гильдии Тимофей Гордеевич Шустов, хлебная торговля и пароходная контора, справлял свои пятьдесят пять лет. Справлял, по обыкновению, не пышно — купец был из тех, кто шумит на бирже, а дома сидит тихо, — но с достоинством: к завтраку подали кулебяку, к обеду съехались племянники, а к вечеру принесли тот самый портрет, о котором в доме шептались уже вторую неделю. Портрет был заказной, парадный, снятый в знаменитом ателье, отпечатанный на плотной бумаге с тёплым тоном и вставленный в раму орехового дерева, — и на нём Тимофей Гордеевич выходил таким, каким желал себя видеть: осанистым, гладким, с цепочкой поперёк жилета и с тем спокойным, чуть насмешливым прищуром, с каким он привык встречать и покупателя, и кредитора.

Дом Шустовых на Морской был из тех купеческих особняков, где достаток не кричит, а достойно молчит: лепнина по потолкам — без вычур, ковры — тёмные, глухие, мебель — морёного дуба, и во всех комнатах тот особый, настоянный за годы запах воска, капусты и хорошего табаку, по которому приезжего человека сразу признают в доме старинного уклада. В таком доме ничего не менялось десятилетиями, и потому всякая перемена бросалась в глаза, как заплатка на парадном сюртуке.

А перемена в доме была, и большая: год назад Тимофей Гордеевич, овдовев, женился во второй раз. Покойницу свою, Марфу Саввишну, он, по совести, любил и тридцать лет прожил с ней душа в душу, детей поднял и в люди вывел; но человеку в пятьдесят четыре года одному, без хозяйки, и скучно, и несолидно, а тут как раз подвернулась Полина Андреевна — молодая, тихая, из обедневших дворян, — и Шустов, к удивлению всей родни, не стал тянуть и повёл её под венец. Родня, впрочем, подивилась недолго: приданого за молодой не дали, жила она в доме смирно, мужу не перечила и хозяйство приняла с охотой, — чего же ещё купцу надобно? Один лишь брат покойной жены, Никанор Саввич Охлобыстин, тогда ещё фыркал в усы и называл всё это «стариковской блажью», но его и слушать-то никто не стал.

И вот теперь, спустя год, в доме висел портрет, и Шустов, глядя на него, впервые за долгое время чувствовал себя в этом доме так, как и подобает хозяину: молодо, крепко и всему голова.

Портрет повесили в кабинете, над конторкой, и весь вечер Шустов, проходя мимо, косил на него глазом и оставался доволен: человек на стене был он сам, только лет на десять помоложе и на полпуда посолиднее. Жена, Полина Андреевна, молодая, красивая, в тёмном платье с кружевом, подошла, поправила раму и сказала негромко, что теперь, мол, батюшка Тимофей Гордеевич, вы у нас как живой будете, что ни день — то моложе. Шустов хмыкнул, потрогал цепочку и пошёл спать довольный.

А через месяц, в начале марта, он зашёл в кабинет спозаранку, ещё до чаю, — и остановился на пороге так, будто наступил на чужое.

На стене висел тот же портрет, в той же раме, — и человек на нём был тот же, да не тот. Куда-то делась гладкость; под глазами легли тени, щёки осели, а в висках, которых Шустов в зеркале у себя не видывал, серебрилась седина. Человек на портрете смотрел на него с той особенной, усталой терпеливостью, с какой смотрят старики, уже всё про себя понимающие.

Шустов, надо отдать ему должное, не сразу поверил глазам. Он снял портрет со стены, поднёс к окну, к самому свету, и долго водил по нему взглядом, будто надеясь, что это пыль. Не

пыль. Он поднёс карточку к лампе, потом снова к окну, и при каждом повороте лицо старика на карточке то наливалось тенями, то, напротив, светлело, но не молодело ни на волос. Тогда он кликнул горничную, велел зажечь все свечи, какие есть, и при этом свете оглядел портрет ещё раз — вплотную, так, что дохнуло на стекло.

— Это что ж такое? — спросил он вслух, сам не зная, к кому обращается. — Я это или не я?

Горничная Глаша, робея, потянулась было взглянуть, но Шустов не дал: отмахнулся, прошёл к зеркалу в простенке и долго глядел на себя — на свои щёки, на лоб, на виски. В зеркале был он: крепкий, гладкий, в меру седоватый, но никак не старик. В зеркале Шустову было пятьдесят пять. А с портрета на него глядел человек, которому, по всему виду, под семьдесят.

— Полина! — крикнул он, и в голосе его впервые за много лет прорвалось то, чего он сам в себе не любил и не ждал: растерянность.

Полина Андреевна пришла, взглянула, ахнула и перекрестилась.

— Знак это, Тимофей Гордеевич, — сказала она тихо, и в голосе у неё, как показалось Шустову, дрогнуло нечто похожее на страх, — нехороший знак. Будто предупреждает кого-то.

— Кого предупреждает-то? — спросил Шустов, а сам всё не выпускал раму, и пальцы у него побелели.

Полина Андреевна промолчала, только поправила ему ворот и позвала доктора.

Доктор, Ферапонт Власьевич Клещов, старичок лет шестидесяти, с бакенбардами и с тем неторопливым, успокаивающим бормотанием, какое бывает у людей, привыкших говорить с больными, приехал к вечеру, выслушал, пощупал, посмотрел на портрет поверх очков и вздохнул. Осматривал он, надо отдать ему должное, обстоятельно: велел раздеться до пояса, приложил ухо и к груди, и к спине, долго мял запястье, считая пульс, а под конец попросил показать язык и так долго и с таким сомнением его разглядывал, что Шустов, человек и без того напуганный, совсем упал духом.

— Ну что, Ферапонт Власьевич? — не выдержал он. — Говори уж как есть. Я не баба, стерплю.

Доктор, пряча трубочку в жилетный карман, помолчал, потом покосился на портрет, на котором купец глядел на них обоих уже совсем чужим, стариковским взглядом, и развёл руками.

— Сердце, батюшка, сердце, — сказал он. — Оно у вас, Тимофей Гордеевич, давно уж не то, что в молодости. А снимок — он, знаете, врать не умеет. Он вам, голубчик, правду и показывает. Это у вас в лице проступило, что в сердце давно сидит.

— Да я ж только вчера... — начал было Шустов и осёкся, потому что вчера он, если по совести, поднимался по лестнице и вправду отдышался дольше обычного, и в боку у него, тоже по совести, что-то такое покалывало.

— Вот-вот, — подхватил доктор, уловив его замешательство, — и лестница эта, и колотьё в боку — это всё оно, родимое. Вы, Тимофей Гордеевич, человек в летах, вам теперь покой надобен, а не дела. Дела подождут. — Он встал, застегнул сюртук и, уже в дверях, обернулся, глядя поверх очков: — И вот ещё что, голубчик. Портреты эти, они ведь неспроста темнеют. Народ-то не зря говорит: коли человек на карточке стареет, стало быть, сам он идёт к исходу. Вы бы, батюшка, о душе подумали. О завещании, о распоряжениях. В нашем с вами положении, — он понизил голос, — в нашем положении, батюшка, медлить не след.

И ушёл, а Шустов остался сидеть в кабинете, глядя то на портрет, то на собственные руки, которые вдруг показались ему не такими крепкими, как ещё месяц назад, — и впервые в жизни подумал о том, о чём за пятьдесят пять лет не думал ни разу: а ну как и впрямь недолго осталось?

А через неделю портрет постарел ещё. И ещё через две — ещё. И когда в начале апреля Шустов, глядя в лицо старика на стене, уже не узнавал в нём себя, — тогда-то он и позвал

стряпчего, и переписал духовную, и отписал всё, что нажил за тридцать лет, молодой жене Полине Андреевне, а брату покойной первой жены, Никанору Саввичу Охлобыстину, оставил, как тот сам выразился потом на суде, «один фиговый лист» — образ, шубу и пару облигаций на память.

Было, впрочем, в этом медленном, по неделям, угасании и нечто до того скверное, что Шустов не мог потом вспоминать без содрогания: он как будто наблюдал за собственной смертью со стороны, как посторонний. Каждое утро он подходил к зеркалу и подолгу вглядывался в себя, выискивая то, что накануне увидел на портрете, — и ведь находил! Находил и тени под глазами, и седину, и ту особенную, землистую бледность, какой раньше не было. А Полина Андреевна, заботливая, тихая, только головой качала и всё подливала ему капель, которые привозил доктор, и всё просила «не глядеть на портрет-то, Тимофей Гордеевич, он вас расстраивает». А он глядел. Не мог не глядеть. И чем дольше глядел, тем меньше оставалось в нём прежнего, крепкого, купеческого — того, что с годами не стареет, а только делается жёстче.

К лету он уже не выходил к завтраку, к осени перестал подниматься на второй этаж, а к зиме и вовсе слёг. Доктор бывал теперь каждый день, всё щупал пульс и всё качал головой, а Бортнев, управляющий, приносил бумаги и ждал, пока хозяин, с трудом удерживая перо, поставит свою, уже почти непохожую на прежнюю, подпись. И никто в доме, кроме разве что горничной Глаши, не замечал, что портрет в гостиной давно уже висит другой — новый, ещё более старый, принесённый управляющим «намедни снятый», — и что купец на нём смотрит так, как смотрят люди, у которых уже не осталось ни воли, ни страха, а только усталость.

А в феврале восемьдесят четвёртого года, ровно год спустя, уже после того как Шустов слег и тихо, по-христиански, отошёл «от сердца», фотограф Багров с Гороховой вынул из своего шкафа тот самый негатив, с которого снимал купца к именинам, — и напечатал с него карточку. И карточка вышла — не такая.

Так всё и началось.

Глава первая. Карточка с чужой старостью

В ателье на Загородном в те святочные дни было пусто и звонко, как в колокольне после службы: заказчики, занятые визитами и подарками, о фотографии вспоминали в последнюю очередь, и потому Макар, убрав приёмную к одиннадцати, сидел у печки на лавке и вполголоса, чтобы не мешать барину, напевал что-то про мороз-воеводу. За окнами, на Загородном, скрипел снег, звякали колокольцы, и в морозном воздухе, как в проявителе, медленно проступал город — весь в инее, в дымках над трубами, в синеватом святочном полумраке, какой бывает только в Петербурге в первые дни января.

Святки в тот год стояли морозные, звонкие, и по всему Загородному от зари до зари шёл тот особенный, весёлый, полупьяный гул, какой бывает в городе только в эти две недели: то ряженные с песней прокатят на разукрашенных санях, то гимназисты с трещотками, то, глядишь, и сам хозяин колбасной выйдет на крыльцо в бабьем платке — «поворожить». Макар, у которого от всякого ряженного в груди что-то сладко замирало, то и дело прилипал к окну и вздыхал, а Вересов, напротив, к святочному веселью был равнодушен, как и ко всякому шуму, отвлекавшему от дела. Впрочем, и к святкам вообще: родился он, по его собственным словам, «без святочной косточки», гадать не любил, ряженных не жаловал, а в бабьи переодевания и вовсе не верил, ибо двадцать лет снимая людей, давно выучил: человек и безо всякого ряжения — такой переодетый, что в ином костюме и не узнаешь. Зато Макар, деревенский, в эти две недели оживал, как старая пластина в проявителе: всё ему мерещилось, что в воздухе носится что-то нездешнее, и он то и дело подходил к Вересову с рассказами — то про зеркало, в которое нельзя глядеться на ночь, то про карты, которые выходят сами, то про портрет, который будто бы «плачет» в одном доме на Песках. Вересов слушал эти рассказы вполуха, но не перебивал: знал, что для Макара святочная жуть — вроде той же светописи, только наыворот, и что человеку, который весь год проявляет чужие лица, иной раз надобно и самому чего-нибудь побояться, чтобы не зачерстветь.

— Ты, Макар, — говорил он, бывало, не поднимая головы от отпечатков, — всё про нечистую силу мне рассказываешь. А я тебе вот что скажу: нечистая сила, она ведь не в зеркалах и не в картах. Она в том, что человек человеку делает, пока другой человек спит. Вот этого и бойся. А остальное — так, святочные фонарики.

Макар на это только вздыхал и уходил к печке, бормоча, что барин его, конечно, умный, да только «в эти дни и умному не мешало бы перекреститься».

Впрочем, дела в эти дни не было. В ателье на Загородном целыми днями было пусто, тихо и, как выражался Макар, «до того благолепно, что хоть образ вешай». Макар от скуки дважды перемыл полы, трижды перебрал кассеты и в конце концов сел у печки с тряпкой, полируя и без того блестящую латунную ножку штатива.

— Барин, — сказал он, не отрываясь от своего занятия, — а слышали, что в городе-то бают? Будто у одного купца на Морской портрет на стене сам собой стареет. Висит-висит, а на нём человек — всё старше и старше, хоть сам-то он живехонек. Вот вам и святки.

— Бают, — отозвался Вересов, не поднимая головы. — Всегда бают. На святки, Макар, и не такое бают: и про зеркала, и про карты, и про портреты. А ты слушаешь.

— Дык как не слушать-то, — обиделся Макар. — Народ зря болтать не станет.

— Ещё как станет, — усмехнулся Вересов. — Народ, брат, для того и существует, чтобы болтать. А наше с тобой дело — смотреть. Болтовня — она у кого на языке, а у нас — на стекле. Вот и вся разница.

Вересов же сидел в приёмной за конторкой и перебирал вчерашние отпечатки, раскладывая их, по давней привычке, не по алфавиту и не по годам, а по свету: сперва те, что сняты у окна, потом — при лампах, потом — вовсе тёмные, кабинетные, где человек выходит из

мрака, как из воды. Он любил это занятие за то, что в нём не было никакого смысла, кроме одного: руки помнят работу, а голова в это время свободна. А голова у Вересова в тот день была беспокойна, хотя он и сам бы не сказал отчего.

Был Сергей Ильич Вересов невысок, но ладен, держался прямо и одевался с той небрежной, почти дерзкой щеголеватостью, какая идёт только людям, уверенным в себе до конца. Волосы — светлые, зачёсанные назад так гладко, что, кажется, сам мороз по ним прошёлся гребнем, — он то и дело поправлял привычным движением: не то чтобы они падали, а так, для порядка, как иной оглаживает усы, хотя усы у него давно не росли. Лицо у Вересова было чисто выбритое, с подвижными, высоко поднятыми бровями, от которых всё лицо принимало выражение человека, чуть-чуть над всем посмеивающегося; а на левой скуле, от виска к щеке, белел тонкий, едва заметный шрам-ожог — след давнего несчастия с реактивами, когда в тёмной комнате, говорят, полыхнуло так, что соседи потом неделю принохивались. Шрам этот Вересов не прятал и не выставлял; он просто был, как бывает у человека, который однажды слишком близко поднёс фонарь к чужой темноте.

— Барин, — сказал Макар, не оборачиваясь от печки, — а ну как нынче опять никого не будет? Дык я, пожалуй, калачи доем.

— Ешь, — рассеянно отвечал Вересов, не поднимая глаз. — Только оставь один на всякий случай. По святкам, Макар, всегда кто-нибудь да придёт. Святки — такое время: у кого кошелек пропал, у кого совесть, а кто и сам себя ищет. Все к нам.

— Совесть-то, — хмыкнул Макар, — мы, слава тебе господи, не проявляем.

— Это уж как посмотреть, — усмехнулся Вересов и отложил лупу. — Совесть, она ведь не в церковной лавке продаётся и не в ломбард сдаётся. Она у человека внутри сидит, как негатив в кассете, — и ежели её не проявлять, так она там до поры и лежит, в темноте. А наша с тобой работа как раз в том и состоит, чтобы вытащить её на свет. Только не свою, а чужую. Чужую совесть, Макар, проявлять сподручнее всего: своя-то у всякого под замком, а чужая — вот она, на стекле, вся как на ладони. — Он помолчал и усмехнулся. — Так что не «слава тебе господи», а дай-то бог, чтобы и у нас с тобой, когда дойдёт до дела, совесть на стекле вышла чистой. А то ведь и мастер на мастера, знаешь, поглядывает.

Макар, не совсем поняв, но на всякий случай покивав, ушёл к печке, а Вересов, проведив его взглядом, снова склонился над отпечатками, и в приёмной опять стало тихо.

Он как раз собирался сказать ещё что-то — про то, что совесть, между прочим, тоже выходит на стекле, особенно у тех, кто уверен, что её у него нет, — как снаружи, на морозе, зашкрипели шаги, хлопнула дверь, и в приёмную, вместе с клубом пара, вошёл посетитель.

Был он невысок, сутуловат, лет пятидесяти, в шубе с чужого, как показалось Вересову, плеча и с портфелем, который он прижимал к груди обеими руками, как прижимают то, что жалко уронить. Лицо у него было тихое, усталое, какое бывает у людей, много лет просидевших в темноте: бледное, с красными, словно бы припухшими от красного фонаря веками. И по этому лицу, по этой бережной, почти робкой манере держать портфель Вересов сразу узнал собрата — фотографа. Такие лица, знал он, бывают только у тех, кто двадцать лет смотрит не на людей, а на их отпечатки.

Макар, слышав шаги, метнулся было к двери, но гость уже вошёл — и вошёл так, как входят люди, не привыкшие ни к парадным, ни к швейцарам: боком, придерживая дверь плечом, словно боясь, что она захлопнется и не впустит. С морозного воздуха, вместе с ним, ворвался в приёмную запах снега, овчины и того особенного, чуть кисловатого табаку, какой курят в небогатых мастерских. И Вересов, ещё не разглядев лица, уже знал, что гость этот — из своих, из ремесленников: слишком бережно он поставил портфель на край конторки, слишком привычно стряхнул снег с воротника, не глядя, куда тот летит, и слишком уж осторожно, двумя пальцами, взял у Макара табурет, будто это был не табурет, а кассета со стеклом.

— Господин Вересов? — спросил гость негромко и, дождавшись кивка, продолжал: — Пётр Никифорович Багров. С Гороховой. Фотография моя, может, изволили видеть, — «Багров и сын», хотя сына-то у меня, по правде, нету, а так, для солидности. — Он перевёл дух. — Я к вам, Сергей Ильич, по делу. По делу, извините, странному. Вы меня, сделайте милость, не гоните, не выслушав. Я не полоумный. Я, — он оглянулся на Макара, — я тридцать лет в ремесле, и такого ещё не видывал.

Вересов молча подвинул ему стул. Багров сел, поставил портфель на колени, расстегнул его медленно, как расстёгивают не портфель, а повязку, и вынул картонку, а из картонки — две карточки, которые положил на конторку рядышком, уголок к уголку, и накрыл сверху ладонью, будто не решаясь показать.

— Вот, — сказал он и убрал ладонь.

Вересов поглядел. И не сразу, надо отдать ему должное, нашёлся что сказать.

А было отчего и замешкаться, и даже, скажем прямо, моргнуть пару раз: двадцать лет он смотрел на чужие карточки, и двадцать лет его трудно было чем-либо удивить, но такого он, пожалуй, не видел ещё ни разу. Перед ним лежали не две карточки даже, а как бы два человека, слепленные из одного и того же — из одного костяка и одного света, — и всё же разные, как бывает разным человек в начале жизни и тот же человек на её исходе. И Вересов, не торопясь с приговором, снова и снова переводил взгляд с одной на другую, как переводят его с негатива на отпечаток, сверяя, где ушла, где проявилась, где соврала рука. И чем дольше он смотрел, тем холоднее и яснее делалось у него внутри, потому что он уже начинал понимать, что именно ему показывают, — а понимание это было из тех, после которых сон у человека делается беспокойным.

А было отчего замешкаться. За двадцать лет он пересмотрел столько лиц, что, казалось, ни одно уже не могло его удивить: он знал наизусть все эти мелкие, предательские знаки, по которым мастер читает человека, как пономарь псалтырь, — и тень усталости под левым глазом, и складку у губ, и то, как дрожит или не дрожит у человека на снимке рука. Но тут перед ним лежали не два человека и даже не два лица. Тут лежало одно лицо, снятое дважды, — и время между этими двумя снимками, судя по всему, прошло не по человеку, а по карточке. Человек остался прежним, а бумага его состарилась. И это было уже не ремесло. Это была та самая дурная светопись, о которой Вересов знал, что она случается, но верил в неё так же неохотно, как врач верит в порчу.

Он поднял глаза на Багрова, и в этом взгляде было уже не любопытство, а то особое, холодное, цепкое внимание, с каким смотрят на вещь, которая наконец-то оказалась стоящей.

На первой карточке купец был моложав и гладок: сытая, спокойная физиономия, цепочка поперёк жилета, прищур человека, который только что удачно продал хлеб и не прочь продать ещё. На второй — той же позы, того же света, той же цепочки — лицо его было старше, осунувшееся, с глубокими тенями под глазами, с ввалившимися щеками и с сединой, которой на первой карточке не было и в помине. Один и тот же человек. Одна и та же съёмка. Два разных лица.

Макар, неслышно подошедший из-за спины, глянул через плечо и попятился, крестясь.

— Это, — сказал Багров, понизив голос, — снято с одной пластины. Вот ровно с одной. Я её сам снимал, год назад, к именинам. Купец мой, Шустов Тимофей Гордеевич. Солидный человек, хлебная торговля. — Он потрогал первую карточку. — Это я тогда и отпечатал. А это, — он ткнул пальцем во вторую, — я отпечатал намеренно. С той же пластины. Год она у меня в шкафу пролежала, нетронутая, под замком, — я за это хоть сейчас под присягу. И вышла, гляньте, — другая.

Он замолчал и посмотрел на Вересова так, как смотрят на врача, от которого ждут, что он либо скажет «пустяки», либо — что уже серьёзнее — промолчит.

— А купец-то, — осторожно спросил Вересов, — что ж, жив-здоров? Я так понимаю, не за портретом же к нам.

Спросил он это будто бы между прочим, но сам, задавая вопрос, уже знал, что ответ будет нехороший. Так бывает у него всегда: сперва он задаёт вопрос, а уж потом, в ту секунду, куда собеседник набирает воздух, чувствует — по тому, как тот отводит глаза или как поправляет воротничок, — что ответ ему не понравится. И сейчас он это почувствовал. Багров, сидевший перед ним такой тихий и усталый, вдруг весь как-то сник ещё больше, и руки его, лежавшие на коленях, сжали картонку так, будто в ней лежала не карточка, а нечто такое, о чём и сказать-то страшно. Вересов, не торопя, ждал: он давно выучил, что иные слова надобно не вытягивать, а дожидаться, как дожидаются, пока на бумаге проступит изображение. И Багров заговорил.

— Умер, — тихо сказал Багров. — В феврале. Год уже почти. От сердца, сказывали. А карточка, — он перевёл дух, — живёт. И не просто живёт, а, изволите ли видеть, стареет. — Он помолчал и, словно собравшись с духом, выпалил то, что, видно, давно не давало ему покоя: — Я, Сергей Ильич, человек неглупый и в своём деле, смею думать, не последний. Я бы и сам догадался, что тут нечисто. Да только вышло-то оно как-то так, что я уж и не знаю, чему верить: глазам своим или карточке. А это, извините, для нашего брата хуже всего. Потому что карточка для нас — всё равно что для вас, скажем, присяга. И коли карточка начинает врать, — он развёл руками, — так что ж тогда вообще правда?

Вересов слушал его и медленно кивал, и в этом его кивании было то особенное, профессиональное понимание, которого и ждал Багров, — понимание человека, который сам двадцать лет живёт среди негативов и знает, каково это, когда работа, которой ты верил всю жизнь, вдруг показывает тебе кукиш.

— Правда, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, — это то, что останется на стекле, когда с него сойдёт всякая чужеродная дрянь. А карточка ваша не врёт. Ей просто помогли. Вот мы с вами и поглядим, кто помог и зачем.

В комнате сделалось тихо, только за окном на морозе трещали святочные плошки да Макар, не утерпев, переступил с ноги на ногу.

— Пойдите, пойдите, — перебил Вересов, и в голосе его не было уже ни усмешки, ни лени. — Вы хотите сказать, что карточка эта, — он ткнул в «старую», — отпечатана вами намеренно с негатива, с которого год назад вышла вот эта, молодая? И что между ними, кроме времени, ничего не изменилось?

— Ничего, — с жаром подтвердил Багров. — Ровным счётом ничего. Пластина та же, бумага та же, руки те же. А вышло, гляньте, — другое лицо. Я, Сергей Ильич, сперва и сам глазам не поверил. Думал, пластину перепутал. Полез в шкаф — нет, всё по нумерам: его пластина, Шустова. Тогда я её, грешным делом, под кран. Думал, пыль или, прости господи, плесень какая. Промыл, просушил, отпечатал заново — опять старик. И так три раза. Три раза, Сергей Ильич! — Он перевёл дух. — Я уж и к образам ходил. И к батюшке. Батюшка говорит: брось, Пётр Никифорович, это тебе за грехи знамение. А какие у меня грехи? Я, почитай, всю жизнь снимал честно. Ну и вот, пришёл к вам. Мне вас, — он понизил голос, — один человек навёл. Сказал: есть на Загородном фотограф, который всякую светописную нечисть разбирает, как фельдшер чирей.

— Нечисть, говорите, — Вересов покачал головой и усмехнулся. — Ну, поглядим, что за нечисть.

Вересов взял обе карточки двумя пальцами за уголки, как берут только что отпечатанный снимок, и поднёс к лампе, поближе к свету. Впрочем, в тот же миг он опустил руку и нарочно прищурился, как прищуривается человек, которому не нужно смотреть долго, чтобы увидеть главное: он не хотел, чтобы Багров заметил, до какой степени он заинтересован. А заинтересован он был — и ещё как. Потому что бумага, на которой отпечатаны карточки, была, он это видел сразу, одна и та же: тот же фабричный знак на обороте, та же плотность, тот же тёплый

тон. Значит, не бумага виновата. Значит, дело было в том, чего на бумаге не увидишь, — в стекле. И Вересов, глядя на две эти карточки, вдруг поймал себя на мысли, которой постыдился бы перед Багровым вслух: старика на второй карточке рисовали. Рисовали умело, почти любовно, как рисуют только те, кто всю жизнь имеет дело с негативами, — по миллиметру, по морщинке, так, чтобы и присяжный заседатель не отличил.

— Ну-с, Пётр Никифорович, — проговорил он вполголоса, поворачивая карточку к свету, — а ведь вы, сами того не зная, принесли мне не две карточки, а целый театр. Только играют в нём не на сцене, а на стекле. Старая привычка, въевшаяся за годы: бумагу он всегда смотрел сперва на просвет, потом впрямую, а уж потом — сквозь лупу, если дело того стоило. Багров, следивший за его руками, всё порывался что-то объяснить, но Вересов поднял ладонь, и тот осёкся: в такие минуты, когда мастер смотрит на работу, говорить не полагается.

И Вересов, чем дольше смотрел, тем явственнее чувствовал, как в нём, старое, профессиональное, начинает шевелиться то самое чувство, которое за двадцать лет ни разу его не подвело: что-то в этих двух карточках не сходилось. Не в лицах, не в свете, а в самой сути, как не сходится негатив с отпечатком, когда их подменили местами.

— Вы, батюшка, — медленно проговорил он наконец, — кажется, шутите. Негативы не стареют. — Он наклонил карточку к свету, и на стекле пенсне, которого у него не было, блеснула бы усмешка, будь оно надето. — Это уж, извините, не по вашей части. Это, скорее, по моей. Или по чьей-то ещё.

Он откинул упавшую прядь назад — привычным, почти машинальным движением — и усмехнулся той особенной усмешкой человека, который уже знает, что дело это он возьмёт.

— Вот что, Пётр Никифорович. Я не гадалка и не заклинатель. Я не ишу призраков. Я их проявляю. — Он помолчал, давая фразе лечь, и добавил тише: — Свет — это следовательно, а я только подаю ему фонарь. Так что давайте-ка, голубчик, всё по порядку. И начнём мы не с карточек, а с вашего шкафа. Где негатив?

Багров, услышав это, весь как-то разом обмяк — не то чтобы испугался, а так, как обмякает человек, сваливший наконец с плеч ношу, которую нёс невесть сколько и не знал, кому отдать. Он закивал, засуетился, принялся собирать свои карточки, но руки у него дрожали, и карточки никак не хотели ложиться в картонку, и тогда Вересов, глядя на эту дрожь, сказал негромко:

— Да вы не волнуйтесь, Пётр Никифорович. Негатив ваш никуда не денется. А вот что у него на стекле — это мы сейчас и поглядим. — Он поднялся, снял с вешалки шубу и, обернувшись к Макару, бросил: — Макар, лупу, фонарь и чистую пластину. Едем на Гороховую.

И, пропуская Багрова вперёд, уже на пороге, прибавил вполголоса, так, что услышал только Макар:

— И вот ещё что, брат. Чует моё сердце, дело это пойдёт куда дальше одной карточки. Так что калачи свои доедай по дороге — надолго, глядишь, задержимся.

Глава вторая. Штрихи на негативе

Багров, как выяснилось, был человеком старой школы — из тех, у кого в шкафу всякая пластина лежит в своём конверте, на конверте надписан номер, а под номером, мелко и аккуратно, — имя заказчика и год, и не дай бог перепутать. Вересов таких мастеров уважал особо: в их шкафах, знал он, и через двадцать лет найдёшь любую пластину, как в аптеке найдут любую склянку, — а это для нашего ремесла, где всё держится на памяти и на порядке, дороже иного таланта. Талант, говорил он, — вещь изменчивая, нынче есть, завтра нет, а порядок — он не подведёт: порядок, брат, сам себе талант.

Слушал он, впрочем, Багрова вполуха, а сам всё косился на портфель, который тот поставил на пол, у ножки стола, и не открывал, — и в голове у него уже складывалась та самая мысль, которую он пока не выговаривал вслух, а только прикидывал, как проявится она на стекле: коли негатив цел и не тронут, а карточки с него выходят разные, — стало быть, дело не в негативе. А коли не в негативе, то в чём? И Вересов, глядя на аккуратные, перетянутые тесёмочками конверты в шкафу Багрова, уже знал ответ, который и не хотел ещё произносить: в руках. В чьих-то руках, которые негатив этот когда-то держали. Вересов, уважавший порядок в чужом ремесле так же, как в своём, слушал его с удовольствием, но слушал вполуха: перед ним на конторке лежали две карточки, и они не давали ему покоя.

— Стало быть, — сказал он, когда Багров дошёл до того, как год назад снимал Шустова к именинам, — негатив у вас и теперь цел?

— Цел-цел, — закивал Багров. — Говорю же, под замком. У меня, знаете ли, всякое добро по-военному: шкаф железный, ключ при себе, и даже супруга моя, царствие ей небесное, покойница, туда не лезла, потому как я, признаться, и ей не давал. — Он помолчал и добавил с той гордостью, с какой говорят о своей крепости: — Негатив для нашего брата — всё равно что для банкира вексель. Уронил, подменил, потерял — и конец репутации. Я за тридцать лет ни одной пластины не запорол и ни одной не потерял. И вот, извольте, — впервые в жизни со мной такое.

— А не извольте вы, Пётр Никифорович, себя раньше времени казнить, — усмехнулся Вересов. — Может, оно и не с вами. Может, оно с тем, кто к вашему шкафу подобрался. Скажите-ка лучше вот что: много ли народу знало, что у вас этот негатив есть?

— Да кому ж знать-то? — Багров развёл руками. — Шустов снимался, Шустов и знал. Потом, год назад, поверенный этот приходил, копию просил. Ну и, — он запнулся, — покойный-то ведь карточки свои раздавал, родне там, приказчикам. Мог кто-нибудь и про негатив вспомнить. Да только кому он, негатив-то покойника, надобен?

Вересов на этот вопрос отвечать не стал, но про себя отметил его, как отмечают на стекле царапину: вот она, первая ниточка. «Поверенный от наследников» просил у Багрова негатив — копию снять, — и вернул. Вернул — а копию снимал ли, бог весть. И, стало быть, был у этого поверенного в руках чужой негатив ровно столько времени, сколько надобно, чтобы успеть с ним сделать то, чего с негативами не делают порядочные люди. Три дня, если верить Багрову. Три дня — это не то что много, это, брат, целая вечность для руки, которая умеет держать карандаш и иглу. За три дня можно состарить человека на тридцать лет — и никто не заметит, потому что стекло молчит, а бумага верит.

— Поглядим, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, поднимаясь. — Кому надобен, зачем надобен и с каких таких «наследников» спрос — это мы ещё выясним. А пока, — он усмехнулся, — пока я бы на вашем месте не огорчился, что ко мне пришли. Огорчаться надобно тому, кто думал, что негатив в шкафу — это как покойник в гробу: лежит и не встанет.

— Вот и я про то же думаю, — сказал Вересов. — Кому надобен. — И, помолчав, прибавил тише, словно про себя: — А надобен он, стало быть, тому, кому важно, каким покойник на карточках останется. И это, Пётр Никифорович, уже не про ремесло. Это про наследство.

— А ключ у вас один?

— Один. — Багров похлопал себя по жилету. — Вот он, при мне. И второй, ежели надобно, — у мальчишки моего, у Ваньки, на связке. Да только Ванька этот — ему тринадцать лет, он у меня больше по части «подай-принеси», а к шкафу его и не подпускали. Да и зачем ему, сами посудите, купец Шустов?

— Зачем купец Шустов кому-то понадобился, — сказал Вересов, — это мы ещё поглядим. А пока, Пётр Никифорович, сделайте милость, съездим к вам. Хочу на негатив ваш глянуть. На тот самый.

Он поднялся, снял с вешалки шубу и, обернувшись, встретился взглядом с Макаром, который уже стоял в дверях тёмной комнаты с фонарём и с той особенной, заранее недовольной миной, какая появлялась у него всякий раз, когда барин собирался «по делу», ибо «по делу» означало, что таскать всё опять Макару.

— Лупу возьми, — бросил Вересов. — И пластину чистую. Авось пригодится.

Решено было ехать тотчас, не откладывая: Вересов, когда дело задевало его за живое, не любил давать ему отлёживаться. Карточки он уложил в плоский конверт, перетянул тесьмой и сунул за пазуху, поближе к сердцу, — по давней привычке, выработанной за годы: улики, как и деньги, носят при себе. Сам же, накидывая шубу, задержался у зеркала, привычным движением откинул со лба упавшую прядь и подмигнул своему отражению — не из щегольства, а так, для куража, как подмигивают перед трудной съёмкой.

— Барин, — ворчал Макар, кутаясь в тулуп, — и чего это вы всякий раз в чужое дело лезете, как в тёмную комнату, — не постучавшись? Покойник-то, поди, уж год как в земле. Ему-то теперь всё едино, старый он там или молодой.

— Ему, может, и едино, — отвечал Вересов, отворяя дверь на мороз, — а вот живым не едино. Ты, Макар, прикинь: живёт человек, а про него весь город говорит, будто он умер дряхлым стариком. Да ещё и карточки тому порукой. Это ж, брат, не просто сплетня — это клевета на покойника. А клевета на покойника — всё равно что кража у мёртвого из кармана. Некрасиво. — Он усмехнулся. — А я, знаешь ли, эстет.

На Гороховую поехали в санях, втроём, и всю дорогу Багров, сидевший рядом с Вересовым, рассказывал про Шустова — как тот приехал в ателье в январе восемьдесят третьего, весёлый, в новой шубе, как снимался «безо всяких там фокусов», только цепочку поправить просил, и как после съёмки заказал дюжину карточек «для родни и для конторы». Рассказывал он складно, с любовью к делу, и Вересов слушал его вполуха, а сам всё вертел в уме те две карточки, что вёз с собой.

Гороховая встретила их тем особенным, глуховатым утренним гулом, какой стоит над торговыми улицами в мороз: скрипели полозья, покрикивали лоточники, и из дверей лавок, при каждом их хлопке, вырывались клубы пара, будто там, внутри, за прилавками, топились невидимые печи.

Вересов, сидя в санях и запахнувшись плотнее, глядел по сторонам с тем цепким, ничего не упускающим вниманием, с каким привык глядеть на улицу всякий, кто живёт среди людей и их тайн: Гороховая была для него не просто улицей, а вроде витрины, на которой каждый дом выставлен со своей изнанкой. Вот угловой мелочной лавочник, провожающий взглядом сани, — знает, поди, всех, кто входит в дом Багрова, и всех, кто выходит; вот городской, зевающий на перекрёстке, — запомнил, может, и того, в перчатках, что приезжал сюда летом «для копии»; вот дворник, скребущий панель, — а дворники, знал Вересов, видят больше иных свидетелей, только спрашивать их надо умеючи да не в лоб. Улица, по которой они ехали, была вся, до последнего фонаря, свидетелем, — и это Вересова радовало, как радуется мастера хороший,

ровный свет перед съёмкой. Вывеска «Фотография Багров и сын» — железная, выцветшая, с облупившимся по углам золотом — висела над самой колбасной, и Вересов, задрав голову, отметил про себя, что вывеске этой лет двадцать, а то и поболее: такие вешают раз и навсегда, как вешают на века. Стало быть, и фотография тут старая, с корнями.

— И сына, говорите, нету? — спросил он, кивая на вывеску, пока они поднимались по узкой, крутой лестнице, от которой пахло воском и жареным луком.

— Нету, — вздохнул Багров, отпирая дверь. — Бог не дал. А вывеску переделывать — рука не поднимается: покойная супруга, царствие ей небесное, самолично её заказывала, когда ещё надеялась. Вот и висит. Мне уж с ней, почитай, и сжиться легче, чем без неё.

Он отпер и пропустил гостей вперёд, и Ванька, мальчишка лет тринадцати, светловолосый, серьёзный, в фартуке не по росту, вынырнул откуда-то из-за ширмы и замер, уставившись на Вересова во все глаза.

— Ванька, подь сюда, — позвал Багров. — Вот, гляди, кто к нам пожаловал. Это тот самый Вересов, про которого я тебе сказывал. Который с нечистью на снимках воюет. — И, повернувшись к гостю, прибавил не без гордости: — Ученик мой. Третий год при деле. Растёт, шельмец, скоро и сам снимать начнёт.

Ванька поклонился молча, но глаз с Вересова не свёл, и во взгляде его читалось такое почтительное любопытство, с каким смотрят на заезжего фокусника.

Ателье у Багрова помещалось на втором этаже, над колбасной лавкой, и пахло в нём не колбасой, а тем особенным, кисло-горьким духом старой фотографии, который не выветривается и не надоедает, а, напротив, действует на своего человека успокоительно, как действует на моряка запах смолы. Ванька, получив от хозяина распоряжение «сидеть тихо и не мельтешить», сел в угол и стал смотреть на Вересова так, как смотрят на знаменитость.

Багров отпер железный шкаф, постоял перед ним секунду, как стоят перед открытым сейфом, и вынул с верхней полки конверт из плотной бумаги. На конверте, углом, было выведено каллиграфическим, старомодным почерком: «Шустов Т. Г., 4 февраля 1883, № 118».

— Вот, — сказал он и положил конверт на стол, не раскрывая. — Негатив.

Сказал он это так, как говорят о вещи, которую несут на весы правосудия: торжественно и чуть испуганно, — и Вересов, глядя на конверт, невольно подумал, что перед ним сейчас не просто пластина в бумаге, а, почитай, сам покойник, который год пролежал в шкафу и теперь, по чужой воле, должен подняться и сказать за себя. В нашем ремесле, знал он, так оно и бывает: негатив — это не вещь. Негатив — это свидетель, которого можно сто раз переспросить, и он сто раз ответит одно и то же, потому что свет не лжёт и не забывает. И оттого Вересов, прежде чем взять конверт, на секунду задержал дыхание, как задерживают его перед тем, как отворить дверь, за которой — неизвестно что.

Вересов развернул конверт бережно, двумя пальцами вынул пластину и подошёл с ней к окну. Свет в тот день был тот самый, какой фотограф любит больше всего, — серый, ровный, северный, без теней и без бликов, при котором всякая работа видна насквозь. Он поднял пластину на уровень глаз, потом медленно повернул к свету и долго смотрел, не дыша, как смотрят в воду, на дне которой что-то лежит.

На стекле, лицом к нему, был Шустов — молодой, гладкий, с цепочкой и с прищуром. Негатив как негатив: чистый, ровный, снятый умелой рукой. И всё же что-то было не так.

Он рассматривал негатив долго, не меньше четверти часа, и за это время не проронил ни слова, только изредка, не глядя, протягивал руку, и Макар, знавший эту его манеру, вкладывал в неё то лупу, то платок, то перочинный ножичек, которым Вересов, не касаясь эмульсии, пробовал кромку стекла. Багров и Ванька стояли поодаль, боясь дышать, и только переглядывались: у мастеров, знали они, такие минуты дороже всяких слов.

А смотрел Вересов в эти четверть часа не на лицо Шустова — на лицо он взглянул и отложил, как вещь известную. Смотрел он на то, на что глядят только самые въедливые, — на края,

на углы, на густоту эмульсии, на то, как легли тени у виска и у рта. Ибо всякая ретушь, будь она хоть трижды искусна, оставляет след не там, где рисуешь, а там, где стираешь. Карандаш можно положить так, что глаз не отличит, — но под лупой, при хорошем свете, обязательно выступит та лёгкая, почти невидимая муть на месте стёртого, тот самый призрак, который и выдаёт руку. И чем дольше Вересов смотрел, тем яснее видел: вот тут, у виска, эмульсия тронута. Вот тут, под скулой, — тончайший след. Стекло было тронuto, и тронuto умелой рукой, которая знала, что делает, — и знала, что за это бывает.

Он бережно опустил негатив в конверт и только тогда заговорил, и голос у него был тихий и какой-то почти ласковый, каким говорят о вещах, уже решённых.

— Вот что, Пётр Никифорович, — проговорил наконец Вересов, опуская негатив, — вы мне, как коллега коллеге, скажите по совести: это у вас свет так падал, или это мне мерещится?

— Что мерещится? — не понял Багров, подступая ближе.

— А вот это, — Вересов поднял негатив к окну и повёл по нему ногтем, не касаясь, на полвершка от стекла. — Гляньте на лоб. На негативе лоб у вашего купца тёмный — стало быть, на отпечатке светлый, чистый. А между бровей, видите, будто ниточка светлая пробегает? Это на отпечатке выйдет как раз морщиной. Морщиной, которой у живого Шустова, зуб даю, не было. — Он перевёл ноготь к виску. — А тут, где эмульсия процарапана, — тут на отпечатке седина и выйдет. Та самая, что вас, батюшка, к образам погнала. И вот что я вам скажу, — он обернулся к Багрову, — это не знамение. Это работа. И работа, извините за прямоту, первого сорта.

— Лупу, — не оборачиваясь, сказал Вересов.

Макар подал лупу, и Вересов, склонившись над пластиной, повёл ею по лицу купца — по лбу, по щекам, по вискам. И по мере того как он вёл, брови его, высокие, подвижные, медленно, как стрелки часов, ползли вверх.

— Ну-ка, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, — подойдите. Вы на этот негатив, часом, не глядели с той поры, как сняли?

— Как снял, так и не глядел, — сознался Багров, подходя. — Чего на него глядеть? Снял, отпечатал, убрал. Дело житейское.

— То-то и оно, что житейское, — усмехнулся Вересов. — А глядеть, батюшка, надо было. Вот, извольте. — Он подвёл его к окну и вложил лупу в руку. — Лоб. Видите?

Багров прищурился, повёл лупу, и лицо его медленно вытянулось.

На лбу купца, едва заметные в ровном сером свете, лежали тонкие, как волос, штрихи — не трещины эмульсии, не царапины от времени, а ровные, осмысленные линии, какими не покрывается стекло само. Это был карандаш. По негативу, по самой эмульсии, прошлись графитовым карандашом — тем самым, каким ретушируют портреты, убирая морщины. Только тут им морщины не убирали. Тут их — дорисовывали.

— А теперь виски, — тихо сказал Вересов. — Видите седину?

Багров вгляделся и ахнул. Там, где у купца должны были быть гладкие, тёмные на негативе виски, эмульсия была процарапана — тонко, ювелирно, остриём иглы, — и эти царапины, на отпечатке, давали как раз то серебро, ту седину, которой год назад не было.

— Господи помилуй, — выдохнул Багров и опустил руку с лупой. — Так это... это же работа. Ретушь. Да какая ретушь! По негативу! Кто ж это, прости господи, у меня в шкафу хозяйничал?

— И я о том же думаю, — сказал Вересов, забирая у него лупу. — Только, Пётр Никифорович, это ещё полбеда. Полбеда — что по негативу прошлись карандашом. Беда — что прошлись не по вашему.

Он взял пластину, бережно опустил её на конверт и указал на угол:

— Гляньте-ка. Где ваш номер?

Багров нагнулся. В углу негатива, где у всякой его пластины был процарапан номер — 118, — теперь ничего не было. Вернее, было: едва заметный след, будто номер выскоблили и на его место не поставили ничего.

— Я на свои негативы, — сказал Вересов, понизив голос, — всегда в углу царапаю номер и год. И вам, вижу, завёл такой же обычай. А тут — чисто. Это, батюшка, не ваш негатив. Это копия. Снятая с вашего, да копия: стекло другое, потоньше, и угол срезан не по-вашему. Ваш негатив кто-то взял, а вам в конверт подложил вот этот. А на нём — уже поработали. Карандашиком и иголочкой. Чтобы купец Шустов вышел не молодым, а старым.

— Да кто ж? — прошептал Багров, и лицо у него сделалось совсем белое. — Кому это надобно, господи ты боже мой?

— Вот это, — сказал Вересов, откидывая прядь со лба, — самый интересный вопрос во всей нашей истории. И отвечать на него надобно не здесь. — Он помолчал и вдруг спросил, вскинув бровь: — Пётр Никифорович, а не вспомните ли вы, не брал ли у вас кто этот негатив? Ну, хоть на денёк, хоть «для копии»? Припомните хорошенько. Год, два — всё едино.

Багров сел, потер лоб и задумался так, что у него даже бакенбарды шевельнулись.

— Брали, — сказал он наконец. — Ей-богу, брали. Летом это было, в июне. Приходил ко мне господин один, солидный такой, в перчатках, сказался поверенным наследников покойного Шустова. Дескать, надобно для надгробного портрета снять копию с той самой карточки, а то у наследников, дескать, все отпечатки разошлись по рукам, а негатив-то, извините, у вас. Ну, я, дурак старый, и дал. Дал ему негатив, он через три дня вернул, и я, признаться, тогда ещё подивился: вернул, а копию снимал ли — бог весть. Да я и не глядел.

Вересов, слушая, машинально потирал шрам на скуле — привычка, выдававшая у него, как выдавала у иных дрожь в голосе, крайнюю степень сосредоточенности.

— А не припомните ли вы, — спросил он, — как он выглядел? Ну, не лицом — лицо всякий может иное надеть, — а вот ростом, повадкой, руками? Вы сказали, в перчатках. А росту какого был? И голос?

Багров прикрыл глаза, вспоминая, и по лицу его видно было, как он, человек, всю жизнь запоминавший лица на стекле, вытаскивает из памяти то, что видел раз, да и то мельком.

— Росту хорошего, — сказал он. — Выше меня на полголовы, а я, как видите, не мал. Худой, держался прямо, как бывший военный. Говорил негромко, складно, и всё «сделайте одолжение» да «будьте любезны». А рука у него, — Багров вдруг оживился, — рука у него была, извините за выражение, не мужская. Нежная такая, белая, и пальцы длинные. Он, как конверт-то с негативом брал, я ещё подивился: такими пальцами не стекло трогать, а на рояле играть. — Он развёл руками. — Вот вам и весь портрет. Больше не вспомню.

— А фамилию? — мягко настаивал Вересов. — Ну хоть как-нибудь, хоть на какую букву?

— Нет, — Багров покачал головой. — Фамилию не назвал. Сказал только: «поверенный, дескать, от наследников». И визитную карточку не оставил. Да я, грешным делом, и не просил: деньги-то он вперёд положил, по-хорошему. А с деньгами, знаете ли, всякий делается рассеян.

— Это уж точно, — кивнул Вересов, вставая. — С деньгами всякий делается рассеян. И, заметьте, Пётр Никифорович, — в ком-ком, а в этом рассеянии, сдается мне, и весь корень нашего дела.

— А как он вам представился? — спросил Вересов, чувствуя, как внутри у него всё подбирается, точно перед съёмкой. — Как звать-величать?

— Фамилию не помню, хоть убей. — Багров беспомощно развёл руками. — А лицо помню. И то, что в перчатках. И что рука у него, помнится, была лёгкая, не купеческая. Он всё конверт мой так брал, двумя пальцами, будто стекло боится помять. Словно сам из нашего брата.

— Поверенный, который боится помять стекло, — повторил Вересов задумчиво. — Это, Пётр Никифорович, уже кое-что. Это, пожалуй, побольше, чем иная фамилия.

Он отошёл к окну и стал смотреть вниз, на Гороховую, где в морозном сумраке уже зажигали фонари. Мысли его, как это всегда с ним бывало, разом легли ровными рядами, точно отпечатки на просушке.

Негатив подменён. Ретушь сделана по копии, карандашом и иглой. Копию снимал тот, кто умеет снимать. А заказ — от наследников, которым понадобился «надгробный портрет». И выходит из этого нечто до того простое и до того нехорошее, что Вересов даже поморщился: не купец на снимке старел. Купца на снимке — старили.

— Пётр Никифорович, — сказал он, оборачиваясь, — а скажите-ка вы мне вот что. Кто в нашем городе умеет по негативу так работать, что и не разглядишь? Карандашом — морщину, иглой — седину? Кто у нас в Петербурге первый мастер по этой части?

Багров задумался ненадолго и ответил, и по тому, как он ответил — нехотя, словно не хотел называть, — Вересов понял, что ответ этот не из приятных.

— Глядите сюда, — продолжал Вересов, склоняясь над негативом вместе с Багровым. — Ретушь, батюшка, бывает двух родов. Одна — благородная, портретная: ею художник убирает с негатива то, чего заказчику видеть не положено, — прыщи, морщины, дурную тень. Для того и держат при хороших ателье ретушёров, а при ателье попроще — сами мастера вечерами над пластинами колдуют. А есть ретушь другая — обратная. Ею не убирают, а прибавляют. Морщину там, где её не было, тень там, где гладко. Это, Пётр Никифорович, уже не портрет. Это, извините, сочинение. Фальшивый документ на стекле.

— Да кто ж на такое способен? — ахнул Багров. — Это ж сколько руки надобно! Морщину на негативе навести — это ж, почитай, тоньше, чем по стеклу гравюру резать. И карандаш-то на эмульсии не всякий возьмёт: чуть нажал — и всё пропало.

— Вот-вот, — кивнул Вересов. — Потому я вас и спрашиваю про мастера. Не каждый в Петербурге так умеет. Раньше, я слышал, умел один. Может, и теперь кто остался из старой школы — из тех, что ещё по стеклу карандашом работали, до всякой там печати на желатине.

Багров задумался, и видно было, как он перебирает в уме всех, кого знал и слышал за тридцать лет ремесла, — и вдруг лицо его помрачнело.

— Был такой мастер, — сказал Багров. — Маркел Лукич Дёмин. Золотые руки. Только руки те, Сергей Ильич, давно уж в бутылке плавают. Спился человек. А раньше — первый по ретуши был, весь Невский к нему ходил.

— Спился, говорите. — Вересов усмехнулся. — Это ничего. Спившиеся мастера — они, батюшка, как негативы: тронешь умеючи — и всё проявится, что надо. Где он теперь, не знаете?

Багров только пожал плечами. А Вересов уже накидывал шубу, и Макар, понявший всё без слов, уже разбирал на лавке фонарь и калачи, прикидывая, надолго ли их теперь хватит.

За окном, на Гороховой, в синих сумерках трещали фонари, и Вересов, глядя на них, подумал, что сегодня, пожалуй, спать не придётся. Потому что где-то в Петербурге сидел человек, которому очень нужно было, чтобы покойный купец на своей собственной карточке выглядел стариком. И человек этот, судя по всему, своего не упускал.

— Макар, — сказал Вересов, — ты не калачи прячь. Ты мне скажи: где у нас на Сенной живёт всякая тёмная фотографическая душа? Ну, которая в подвалах сидит и по ночам печатает?

Макар почесал в затылке и ответил не сразу:

— Дык известно где, барин. На Лиговке. Или на Сенной, во дворах. Где подешевле, там и душа.

И они поехали — сперва на Лиговку, потом, покрутившись среди её мрачных, продутых дворов, на Сенную. Места эти Вересов знал не хуже, чем собственную тёмную комнату: именно здесь, в полуподвальных каморках за облупленными вывесками, и жило то ремесло, которое в газетах называли «дешёвой светописью», а промеж себя — просто «халтурой». Тут снимали для паспортов и для полиции, печатали «на память» солдатам и приезжим, ретушировали лица

невестам и затирали морщины старухам, и всякий из здешних мастеров, даже самый последний, умел если не читать по негативу, то по крайней мере подправлять его так, чтобы заказчик остался доволен. А иной умел и больше. И Вересов, обходя эти дворы с Макаром, приглядывался не к вывескам, а к окнам: искал то, чего с улицы не видно, — тёмное оконце, занавешенное плотно, из-под которого по ночам сочится слабый красный свет. Такой свет, знал он, и есть верный признак человека, работающего не на дневную публику, а на ночных заказчиков.

И впрямь, подумал Вересов, глядя, как за окном на Гороховой догорает короткий зимний день, — подешевле. Всегда подешевле. Ремесло наше, как и всякое, имеет два этажа: наверху — ателье с бархатными креслами и матовым светом, где снимают купцов и банкиров, а внизу, в подвалах, — те, кто этими купцами и банкирами, по сути, и распоряжается, сам того не ведая: ретушеры, копиисты, печатники, вся та тёмная, терпеливая армия, без которой ни один парадный портрет не вышел бы таким, каким его видят на стене. И всякий, кто хочет что-нибудь сделать с лицом — состарить его, омолодить, а то и вовсе убрать с карточки, — рано или поздно спускается в эти подвалы. Ибо там, внизу, не спрашивают, зачем. Там спрашивают, сколько.

— Ну вот что, — сказал Вересов, запахивая шубу, — завтра, Макар, поедem на Лиговку. А нынче — к Багрову, негатив глядеть. И потом, — он усмехнулся, — потом, глядишь, и до Морской доберёмся. До самой, брат, верхней комнаты, где всё это и затевалось.

Глава третья. Ближний круг

Однако прежде чем ехать на Лиговку, Вересов решил поглядеть на тех, ради кого, быть может, всё это и затевалось. Ибо он давно выучил простую истину: чтобы понять, кому понадобилось старить купца на снимке, надобно сперва поглядеть на тех, кто купца пережил. А пережил его, судя по всему, целый дом — и каждому из этого дома от «старой» карточки был свой резон.

Предлог он придумал тотчас: заявиться к вдове как фотограф, которому покойный, дескать, заказал перед смертью карточки, да не успел получить, — а карточки готовы, вот и извольте. Предлог был шаткий, но тем и хорош: шаткий предлог, знал Вересов, в чужом доме заставляет людей говорить охотнее, ибо всякий, кому есть что прятать, непременно попытается предлог этот перевернуть.

— Дом Шустова, говорите, на Морской? — переспросил он у Багрова, уже стоя в шубе. — А что за дом? Купец, я понимаю, был не бедный?

— Не бедный, — подтвердил Багров. — Хлебная торговля да пароходная контора. Особняк свой, кариатиды по фасаду. Я у него, признаться, и снимал-то раз: к именинам, дома. Он меня, старика, на дом и выписывал, чтобы не тащился он сам, дескать, в ателье сниматься. — Багров усмехнулся. — Важный был человек, хоть и простого обхождения. И дом — под стать.

— Ну, вот и славно, — сказал Вересов, застёгиваясь. — Раз дом такой, стало быть, и вдову его посмотрим. Только вы, Пётр Никифорович, сделайте милость, пока помолчите о нашем с вами разговоре. Никому. Даже Ваньке вашему не рассказывайте, что я негатив у вас глядел. Мне надобно, чтобы на Морской обо мне куда-нибудь ничего не знали.

— Это можно, — с готовностью согласился Багров. — А сами-то вы с чем туда явитесь? С пустыми руками?

— С пустыми не явлюсь, — усмехнулся Вересов. — Явлюсь с карточками. Дескать, покойный заказывал, да не успел получить. А карточки готовы — извольте. Предлог, конечно, шаткий, — прибавил он, — да тем и хорош: послушаю, кто и как его перевернёт.

Дом Шустова стоял на Морской, тяжёлый, трёхэтажный, с кариатидами и с той солидной, чуть хмурой осанкой, какая бывает у особняков, знающих себе цену. Вересов поднялся по вычищенной лестнице, позвонил и, пока ждал, оглядел дверь: медная дощечка, новёхонькая, «Т. Г. Шустовъ», а под ней — ещё свежая, явно недавно привинченная, «Торговый домъ Шустовыхъ и К». Наследники, стало быть, уже хозяйничают, подумал он, и, усмехнувшись про себя, поправил шарф.

Отворила ему горничная — круглолицая, расторопная, в накрахмаленном переднике, — и, выслушав, куда-то исчезла, оставив его в прихожей, где пахло воском, свечами и ещё чем-то тонким, неуловимым, что Вересов определил бы как запах покойного достатка, который ещё не успел осесть. Пока он ждал, он успел разглядеть прихожую как следует — а прихожие, знал он, куда красноречивее гостиных. На вешалке, рядом с траурным платьем вдовы, висело несколько мужских шуб, и среди них одна — касторовая, на дорогом меху, с бобровым воротником — выделялась тем, что была явно моложе и щеголеватее прочих. Рядом, на подставке, стояла трость чёрного дерева с серебряным набалдашником, а на ней, небрежно наброшенные, — перчатки. И Вересов, глядя на эти перчатки, невольно вспомнил слова Багрова: «в перчатках, рука нежная, белая». Он не стал ничего трогать, только отметил про себя и шубу, и трость, и перчатки — и, усмехнувшись, подумал, что «поверенный от наследников», пожалуй, не так уж и далеко ушёл от наследников: вот он, судя по шубе, по трости, — тут же, в доме.

Ждать пришлось недолго.

Горничная провела его дальше, в большую залу, где было полутёмно от задёрнутых портьер и тихо, как в церкви перед службой. Вересов, человек, привыкший всякую комнату читать,

как негатив, ещё с порога отметил про себя и эту полутьму, и портьеры, и то, что часы на камине, бронзовые, с амурами, стоят, и что в углу, на столике, под траурной кисеей, лежит стопка визитных карточек — гости, стало быть, всё ещё ездят с соболезнованиями, хотя году скоро.

И ещё он отметил портрет.

Он висел над диваном, в золочёной раме, и из полутьмы, из-под этой тяжёлой, дорогой позолоты, на вошедшего глядел Шустов — тот самый, знакомый уже по карточкам, — но не молодой, а постаревший, с тенями под глазами и с сединой в висках. «Старая» карточка, но большая, парадная, во весь рост. Вересов скользнул по ней взглядом и тотчас отвёл глаза, чтобы не выдать себя раньше времени, но внутри у него всё подобралось, как подбирается перед съёмкой: вот он, подумал он, ещё один «стареющий» Шустов. И висит он здесь не для красоты. Он висит здесь как свидетель. Как алиби.

В залу, неслышно ступая по ковру, вошла женщина, и Вересов, обернувшись на шорох, на секунду забыл, зачем пришёл.

Полина Андреевна Шустова была из тех женщин, про которых говорят «молодая вдова», и в этом слове — «вдова» — было для неё как будто маловато. Лет тридцати, не больше, в чёрном платье, сидевшем на ней так, как сидит только то, что шито на заказ, она шла по гостиной неслышно, и лицо её — спокойное, бледное, с тёмными, чуть припухшими от недавнего плача глазами — было при этом настолько красиво, что Вересов, человек к женской красоте привычный, поймал себя на мысли: такое лицо на стекле вышло бы отменно, вот только глаза надо снимать не сегодня, а завтра, когда высохнут. Он вообще, при всей своей иронии, умел ценить красоту по-мужски, спокойно, как ценят хорошую погоду или добротню сделанную вещь, — и оттого взгляд его, когда он поклонился вдове, был не льстив и не маслен, а просто внимателен, как у мастера, прикидывающего, как ляжет свет. Полина Андреевна, привыкшая, видно, к иным взглядам, чуть подняла бровь и, помедлив, ответила ему тем же долгим, изучающим взглядом, каким глядят на человека, который пришёл в дом под чужим предлогом и, кажется, сам это понимает. И в этом её взгляде Вересов впервые увидел не вдову, не красавицу, а игрока — хладнокровного, вышколенного, умеющего ждать. Такого игрока, подумал он, обмануть труднее, чем запугать. И надобно будет играть с нею не на испуг, а на любопытство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.